

УВИДЕТЬ НЕБО ИЕРУСАЛИМА (ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА МИХАИЛА ГАСИЛОВСКОГО¹)

Злата Зарецкая

Михаила Гасиловского мальчиком в живописи не назовешь. Художественная академия, 20 лет работы на телевидении в качестве сценографа, высокий профессионализм, престижные постановки и, самое главное, соответственные «денежные знаки»... Машины менял, как перчатки, изъездил всю Европу. Москвич из центра от рождения, удачливый, признанный, внешне импозантный, похожий на заслуженного деятеля искусств, увенчанного лаврами, он до сих пор может впечатлить мощным голосом, пронзающим взглядом, блистательным интеллектом, внутренней силой и неизменным достоинством...

В Израиле с ним произошел переворот, как со многими из нас... Но если большинство взрыв прежнего не выдерживают и мутируют — теряют порой лучшие человеческие качества, превращаясь в удобных для самих себя роботов, скрывающих тревогу за дежурной улыбкой; то с Михаилом Гасиловским, как с некоторыми избранными, этого не произошло. Наоборот, синдром «своей земли» проявил в нем лучшее, скрытое ранее за высоко профессиональным ремеслом — душу творца, свободную, не связанную более ни с чем, кроме «внутреннего голоса».

Улетая из России, он вообще не взял с собой краски и кисти, считая, что здесь придется заниматься любой работой и орудия живописи не понадобятся. Но при Мастере была его Маргарита. Жанна, прекрасно знавшая непредсказуемый характер мужа, который не сможет без творчества, втайне от него взяла все и — была права...

¹ Михаил Гасиловский, художник театра и кино, родился в Москве, окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии Художеств СССР (1953-1961), Московский государственный педагогический институт, факультет преподавания живописи (1965-1971), Институт «Школа-Студия МХАТ», факультет сценографии и постановки спектаклей (1973-1978), получил диплом художника-декоратора и постановщика. В 1961-64 гг. — работал художником-живописцем в Комбинате Живописного искусства МОХФ РСФСР, в 1964-67 гг. — художник-постановщик Магаданского государственного музыкального и драматического театра, с 1967 по 1994 гг. — художник-постановщик на Центральном Телевидении СССР (Москва), с 1997 по 2008 гг. — художник-постановщик в театральных и телевизионных проектах в Израиле.

Представленные в статье репродукции работ М. Гасиловского не имеют названий — художник их не подписывает принципиально. Все они — о еврейской и общечеловеческой драме, поданной сквозь призму архитектуры Иерусалима.

«Я увидел это небо, эти камни, эти пески, горы, и мне безумно захотелось остановить это в моей памяти... Можешь считать меня идиотом, но я действительно почувствовал себя художником только в 1996 году, когда приехал в Израиль. Понимаешь, профессионал и художник — творец — две разные вещи. Мне никто за это не платил, меня никто здесь не знает, это было только мое желание.

Как оно возникло, я не знаю — я вообще человек трезвый, твердо стоящий на земле и не витающий в облаках. Но что-то есть — выше нас и нам не подвластное — я не могу это отрицать. Я вдруг почувствовал, что обязан взять лист бумаги и на нем изобразить все, что вижу вокруг. Объяснить это я не могу, но это ощущение возникло у меня пять лет назад — оно не покидает меня до сих пор.

Ощущение того, что я соприкоснулся с мирозданием. Это не люди, не машины, не дома. Это — Небо, распахнутое над тобой! Хотя я видел небо много раз, но у меня то небо не возникало желания быстро запечатлеть на холсте.

Лишь однажды я увидел то же Небо Мироздания на острове Врангеля над бухтой Тикси. Когда я приезжал оттуда, я тоже срочно садился рисовать, но все же это было совсем другое... Понимаешь, туда я приезжал временно, и в Москве это все моментально менялось. Те ощущения исчезали в какой-то дымке воспоминаний...

А сюда я приехал жить. И Небо Иерусалима для меня — не гостевое. Оно от шатра звезд, который опустился прямо над тобой. И это мое ежедневное Небо, в котором я каждый божий день!

Я всю жизнь прожил в Москве, но ощущения дома в том небе не было никогда. Оно всегда было мне чужое — не мое. И люди, жившие со мной в одном доме, это были не мои люди; и тексты в газетах, которые я покупал регулярно, чтобы знать, что происходит в мире, были не мои тексты... и не мои газеты...

А тут, хотя многое раздражает (и «соседи», и незнание иврита, и отсутствие постоянной крыши над головой), но это все — свое... Порой я сам не могу этого понять.

Ну, помнишь, многие из нас, живя в центральных городах, летом ездили в отпуска на юг или в Прибалтику. Когда я приезжал в Прибалтику, она нравилась мне своей чинностью, чопорностью. Она была мне абсолютно чужой, и я с удовольствием уезжал оттуда.

Но Кавказ был мой: и общий колорит жизни, и громкие крики, и преувеличенные эмоции, и слишком яркое солнце, и слишком длинные тосты, и слишком синее небо. То есть, когда все было *слишком* — это было моё!

И вот здесь, в Израиле, я вижу то же самое — чрезмерную жестикуляцию, чрезмерное количество золота на шее, на руках, на ногах — на всех

местах, которые как-то двигаются; чрезмерную экспансивность — т.е. здесь всего очень много. Но это моё! Когда я увидел это впервые, голова пошла кругом. Вот это все мой мир! И хотя я практически с ним не соприкасаюсь вообще, но небо я понял через эту чрезмерность. Я понял, почему оно такое синее, а песок желтый, почему камни серые, «седые». Я понял, потому что я чувствую с ними какое-то родство, как человек. Я чувствую себя здесь комфортно, удобно, тепло, уютно (причем отнюдь не в финансовом и не в экономическом отношении, не в стабильности жизни — этого просто нет!), а именно в том, что все вокруг — мое. Я впервые в равновесии! Могу ходить, видеть, впитывать — ничто меня не раздражает — я нахожусь в полном абсолютном покое сам с собой. Этого не было никогда в Москве!

Конечно, там прошла молодость, а когда молоды — все прекрасно, и о многом забывается... Но там я ненавидел небо, землю, троллейбусы и собственные автомобили — ненавидел все, что видел... Это появилось у меня впервые в восемь лет приблизительно, когда мой отец был реабилитирован полностью. Я видел, будучи мальчиком 8 лет, как участковый милиционер ночью тащил моего отца по снегу за руки, когда тот попытался свидеться с семьей: моему отцу был запрещен въезд в Москву — за 101 км. И поскольку он был представителем власти, и это — я знал точно — не входило в его служебные обязанности, он по своей инициативе — «по зову души»! — сидел ночью в сарае и караулил, когда отец придет ночью домой — он получал удовольствие от этого издевательства. И поскольку он был в погонах, для меня — ребенка — он олицетворял всю советскую власть, и я неосознанно перенес это на всю систему. К сожалению, я не раз потом убеждался, что система действительно равнялась этому «волку в погонах»! И хотя судьба отца сложилась далее в общем неплохо, чувство ненависти осталось... Оно распространилось потом на всю природу России, которая воспринималась им как «временная — суетливая» и изображению не поддавалось... В израильских работах М. Гасиловского наоборот — прорвавшийся, как бурный водопад, пир природы, порождающей свободные, точно найденные формы растущего, как дерево, города...

Небо — шатер, опустившийся над человеком, окутывающий его звездами, как материнскими руками; небо — чаша, будто добрая ладонь, поддерживающая купола города — ребенка; небо — дорога, приглашающая к диалогу и вопросу: а что там дальше в этой столь близкой, как обретенная правда, глубине? Небо, а не земля, — сцена истории, проверяемой и взвешиваемой на весах бесконечности. Небо — главная реальность и единственный судья — визуальная концепция современности очевидна в творчестве прорвавшегося, проснувшегося художника.

В его рожденных здесь картинах, тревожных, непредсказуемых, композиционно точных и магнетически привлекательных необычной, наполненной, словно открытие нового мира, цветовой гаммой тонешь, как в космической бесконечности, частью которой изображен у него Иерусалим.

«Посмотри, здесь пространство неба, в котором висит город... А вот еще один Иерусалим, которого ты никогда не видела. Он вписан вполне узнаваемыми кусками в менору (белоснежную на фоне неограниченной бирюзы, и ветви ее вместе с желто-солнечными фотографически знакомыми зданиями уходят ввысь вместе с небом!) Иерусалим присутствует у меня практически везде. Это все — Иерусалим!

Если ты обратила внимание, у меня вообще здесь нет людей. Конечно, без людей город мертв.. Но я их не рисую, так как они мне не интересны. Для меня живое здесь — это камни, лестницы, подьёмы, спуски — то, что создаёт ауру этого города. Мне особенно дорого, безумно тепло все, что связано с камнем, песком, с тем, что составляет вечность Иерусалима. Я могу ходить по камням, которым более 3000 лет! И не для меня и не ради меня их положили. Я исчезну, как все, кто ходил по ним до меня. А эти камни останутся. Вот эта вечность, перед которой чувствуешь себя полной песчинкой, потрясает. Причем это не организованный кем-то музей — это вокруг тебя каждый божий день! Это переполняет тебя чувством собственной ничемности, ничтожности и в то же время чувством вечности мироздания, которое было до тебя, которое происходит во время тебя, и которое будет после тебя... В мире этом ничего не изменится абсолютно. И осознание вечности при виде этих камней, стен, неба приводит меня в такой восторг, какого не было у меня никогда в Москве».

Новая «шкала ценностей» в израильских работах М. Гасиловского выглядит демонстративно театрально, вызывая сценично, приглашая зрителя к размышлению — соучастию — возможному выбору роли в заданных «вечной» архитектурой психологических обстоятельствах...

«Не забывай, что я изначально художник театра и кино... Я рисую воображаемый в моем сознании Иерусалим. Иерусалим, которого нет! Улицы, которые не существуют на самом деле! Хотя все это абсолютно реально, это можно пощупать руками и найти, однако посмотреть на это по-новому... Помнишь, как у Босха, у которого потусторонний мир более реален, чем реальный...

Из чего складывается мой воображаемый Иерусалим? Из того, что мы видим каждый день, но проходим мимо, не замечая. Я преображаю эту реальность в ирреальность вечности нашего бытия... То есть для меня это — театр, сцена, на которой разворачивается драма истории, драма жизни каждого из нас конкретного муравья — такого же, как я, который сегодня сиюминутно ходит по этим улицам...

У входа в Храм Гроба Господня на одной из лестниц, ведущих в подвал, я увидел царапины, выбитые крестоносцами... Когда я положил руку туда, меня охватил трепет... Я ощутил диапазон времени, который возникал у меня в Венском или Кельнском соборах. Эти осколки уложили меня наповал. Потом Стена Плача, и на Храмовой Горе я увидел огромные арки времен царя Шломо... Все остальное уже ложилось на старые дрожжи — укладывалось по полочкам...»

Театр архитектуры на его картинах тревожен и неустойчив... Дороги заканчиваются небом, лестницы не имеют конца, дома — без основания на земле. Композиционные пространства сдвинуты, не выравнены, не устойчивы — висят в воздухе и уходят неизвестно куда... Создается впечатление, что эти мощные сооружения могут рухнуть в любой момент, ибо хрупки, как хрусталь, и прозрачны, как на рентгене...

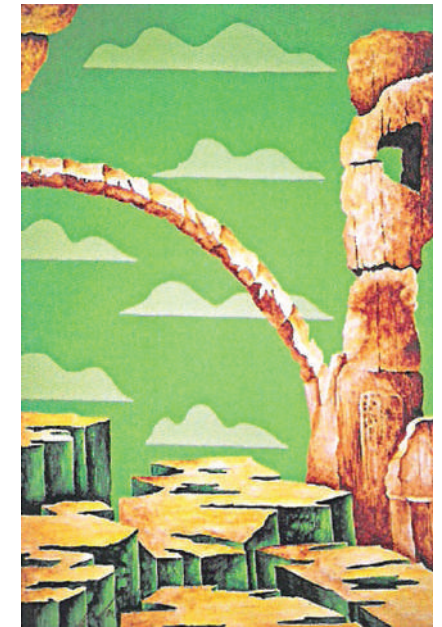
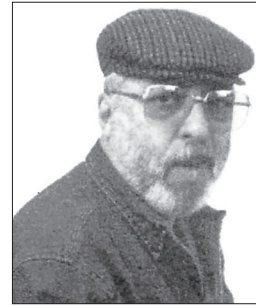
«Каждая из архитектурных деталей тем не менее четко привязана, и хотя все они находятся в неравновесии, каждая из них имеет под собой землю, отбрасываемую тень, свой собственный объём — то есть любая моя картина имеет свой внутренний закон, и каждая деталь в ней закономерна... Но очевидно, что все они соотносятся между собой совершенно поразному... К этим узнаваемым конкретным вещам живого существующего Иерусалима я добавляю только свое отношение, свои понятия о том мире, в котором мы живем. Какие? — Сюрреалистические — искаженные...

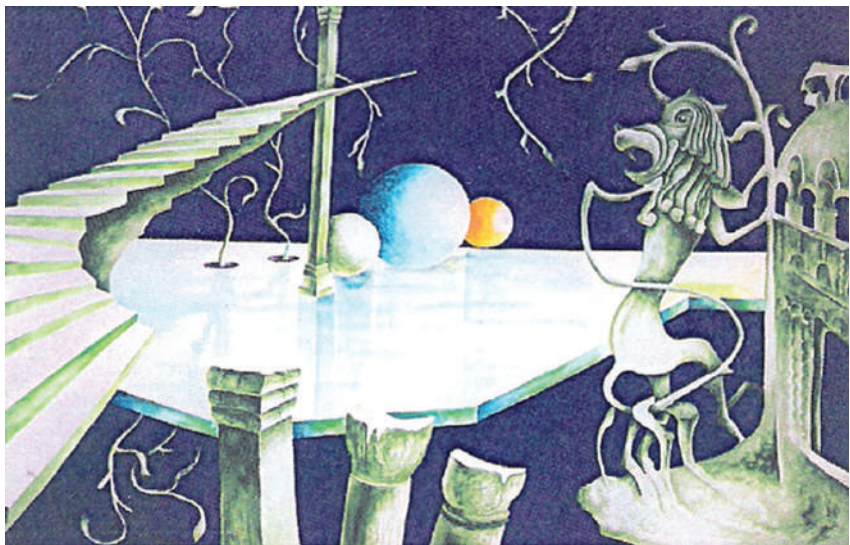
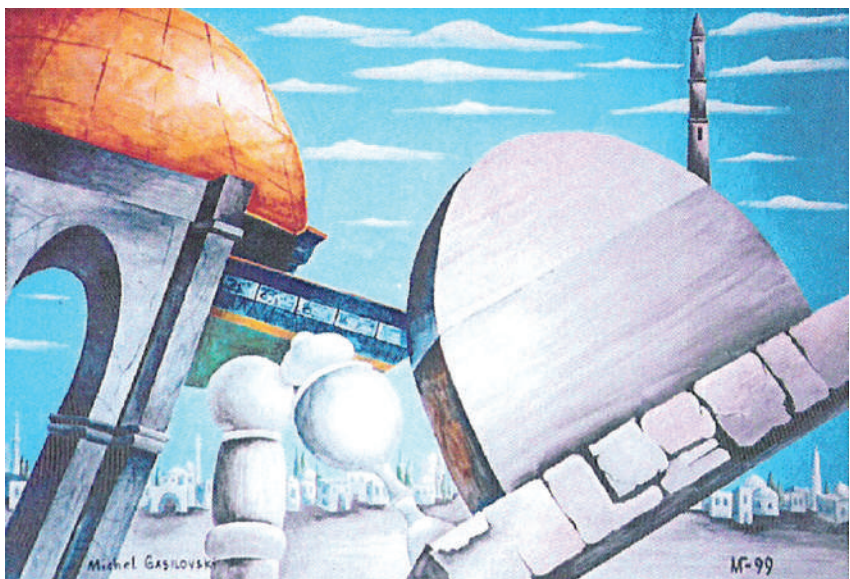
Я вижу все пространство исковерканным — ведь все вокруг нас исковеркано, несмотря на вечность; ибо кроме вечности есть еще и сиюминутность, наша сегодняшняя жизнь. Мир наш держится на тоненькой ниточке — это стало очевидно особенно в последние полгода. Он может рухнуть и обрушиться на нас в любую секунду.

Камни останутся вне всякого сомнения — с ними ничего не случится. Но нас не будет. И мы не знаем, будет ли это спокойный мир или как после урагана... Это зависит не от нас... И потому я вижу пространство Иерусалима очень неустойчивым. Мои композиции — попытки реализовать сомнение, которое повисает в воздухе, как вопрос, на который нет ответа...

Мой Иерусалим одновременно и вечен и временен...»

Его картины потрясают тяжеловесностью и незаземленностью — полетом мощного веса в открытом космосе... Камни висят в воздухе, несмотря на свою устойчивость... Горы не имеют основания — они как бы спустились с неба и еще не опустились на землю. Дороги уходят в никуда и обрываются — у них нет продолжения, вернее, их продолжение — бесконечность... На всех лестничных переходах можно только висеть — ибо спуститься или дойти куда-то невозможно. В этом прекрасном монументальном мире нет почвы — **есть только небо...**





«Наш мир действительно лишен платформы, жесткой твердой основы. И вся наша жизнь — это мышиная возня. И то, что называется высокой политикой, в которую вовлекаются все новые страны — виток бредовой ситуации на Ближнем Востоке — это все муравьиные бега по сравнению с Иерусалимом и с тем, что здесь было до и будет после нас».

Его картины, несмотря на композиционный сюрреализм, театральную приподнятость архитектуры над жизнью, авторский дизайн истории, дуалистичное восприятие Израиля, неожиданно точны по национальному мироощущению...

«Всю жизнь я знал, что я — «жидовская морда». В Израиле я еврей и чувствую себя комфортно. Здесь меня еще ни разу никто не назвал «русским», наоборот «иракским от Садама Хусейна».

В геологической партии, где намывали золото, я услышал: «Ты, жиде-ныш, сгоняй за водкой». Я готов был его зарезать...

Израиль, чтобы выжить, должен оставаться еврейским. И я рисую город, святой для каждого еврея... Хотя я не думаю, когда рисую, имеет это отношение к моему еврейству или нет. Но уверен, что, будучи монголом, несомненно рисовал бы Иерусалим по-другому. Я не приехал сюда на курорт или пробежаться галопом по памятникам и свалить обратно с кучей фотографий — я здесь живу. И это сочетание быта с бытием — кондиционированных автобусов, спутниковой связи вместе с камнями, которым 3000 лет, вызывает у меня священный трепет. Это я хочу передать зрителю. Он может уже домыслить для себя то, что недосказано, скрыто».

Еврейский парадокс его театральных иерусалимских видений — диалогичность, приглашение к сотворчеству и спору... Ожидание вопроса — в этом «изюминка» и смысл его визуально конкретного и ирреального мира...

«Человек задерживается на вернисажах именно перед тем, что ему непонятно». Работы М. Гасиловского тревожат загадочностью каменной гармонии в дисгармонии и ... красотой.

И хотя он демонстративно скромнен («Меньше всего я гнался за тем, чтобы это выглядело красиво»), обновляющий, как вино, эстетизм его картин очевиден. Они привлекают не только странностью композиций, но и необычностью обычных цветов. Его палитра красок родилась здесь — в ней тоже путь в бесконечность смысла.

«Эстетика тут на улице, это видно каждому. Но грош мне цена, если я не смог бы выразить ее по-своему. Я создаю цельный образ Иерусалима, где основная гамма неба — это голубой, синий; песка и камней — это бежевый и коричневый; садов, где все посажено руками, — это зеленый. Это мои три основные цвета, которые здесь, по-моему, превалируют. Красный,

лиловый — только для игры, посмотреть, что получится, — чистое трюкачество. Цвет для меня — итог образа. Только тогда, когда моя схема наполняется цветом, я сажусь за бумагу».

Мир М. Гасиловского яркий, безоттеночный. У него мощная цветовая гамма, где нет светотени, как у Рембрандта, Серова или Шишкина... Все краски самодостаточны, наполнены сами собой, говорят со зрителем прямо — без подтекстов... Они немного давят, откровенны на грани наглости, как вся природа в Израиле.

«Для меня цвет — это то, что я вижу вокруг. Сидеть здесь и рисовать в духе фламандцев, используя мягкую коричневато-зеленоватую гамму, полутона — это не то, что здесь тебя окружает. Я рисую не мертвую, а живую природу, не натюрморты, а пространство вокруг себя, я делаю его таким, каким я его вижу.

Оно абсолютно лишено полутонов, имеет четкие тень и свет, объёмы, ярко выраженные из-за солнца; здесь всюду солнечный свет. Я вижу небо, которое невозможно разложить на составные части, как у Гейнсборо или Левитана. Оно здесь открытое, нахальное, хамское и довлеющее над тобой своим цветом. Вот этот самоутверждающийся и жизнеутверждающий цвет я и стараюсь передать. Я не мешаю краски, чтобы избежать полутонов, потому что в результате смешивания получается грязь. А здесь нет грязи — чистое открытое пространство...

Конечно, существуют чисто технические приемы, и то, что тебе кажется открытым цветом, на самом деле — результат длительной работы. Это уже тайны ремесла. Ну вот, например, чтобы получить вот этот голубой цвет неба, я смешал восемь тюбиков в разном соотношении друг с другом. Не бывает «тот цвет» сразу. Это поиск. И хотя этот оттенок голубой, я его вижу везде разным. Но это все тот же цельный, наполненный голубой, который связан с моим разным настроением. Цвет зависит от состояния души, от миллиона нюансов».

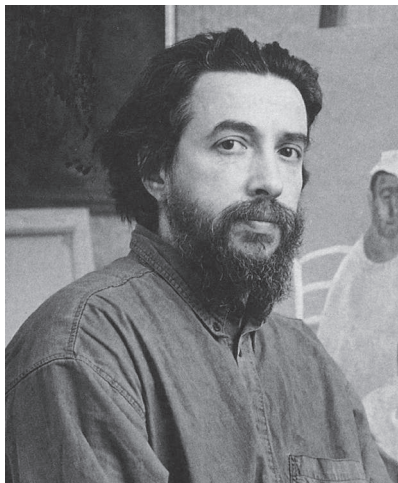
Голубой цвет неба Иерусалима в его изображении не давящий — яркий, солнечный, теплый, открытый. Это цвет надежды.

И хотя Художник демонстративно считает свои работы лишь «аурой спасающей», творческой психотерапией, несомненно, что им место в престижном музее. И, как видит это он сам в будущем, — «на стене каждого дома, независимо, на каком языке там говорят... Так как глядя на мои работы, люди смогут ощутить себя частью вечности, общечеловеческой истории».

Да не останутся незамеченными подлинные прорывы духа и таланта — только ими отмечено настоящее Искусство!



У статті наведені репродукції творів М. Глейзера з книги-альбому, присвяченому творчості митця: Michael Gleizer. Paintings. — New York: Chassidic Art Institute, 1993



1. Художник Михайло Глейзер



2. Михайло Глейзер. Столяр. 1985.
Полотно, олія. 80 x 61



3. Михайло
Глейзер. Спогади.
1991. Полотно,
олія. 76 x 76